

ЖЕЛЕЗНЫЕ

ЛЮДИ



НАТАЛЬЯ
МЕЛЁХИНА



Наталья Мелёхина

Железные люди (сборник)

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Мелёхина Н. М.

Железные люди (сборник) / Н. М. Мелёхина — «Эксмо», 2018

ISBN 978-5-04-090885-1

Какова она, послеперестроечная деревня? Многие и не знают. А некоторые, наверное, думают, что она умерла. Но нет, жива. Вот тетя Тася и тетя Фая делят однорукого жениха деда Венюху, вот дядя Гриша, полноправный хозяин руин и развалин, собирает металлолом и мечтает о путешествии на вырученные деньги, а вот скотница Рита Коробкова жертвует половину своей премии на инструменты оркестру интерната для слепых и слабовидящих. О трагедии российской жизни Наталья Мелёхина рассказывает без надрыва, легко, выразительно, иронично. А в центре повествования всегда обыкновенный человек с удивительным устройством души – любящий, жертвующий, сочувствующий.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-090885-1

© Мелёхина Н. М., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

Рассказы	6
По заявкам сельчан	6
Забывай как звали	12
Что мы знаем о хлебе	18
Сердце без лапок	24
Паутинка любви	26
Бабочка в лабиринте	30
Как Байкала хоронили	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Наталья Михайловна Мелёхина

Железные люди

© Мелёхина Н., 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

Рассказы

По заявкам сельчан

Вечером на исходе зимы в Евсеевку вошел незванный гость – невысокий и крепкий дед лет семидесяти. Вадим как раз чистил снег в заулке, когда истошно залаяли лайки Тобол с Ямалом. Чужак без разбору тыкался в каждую избу, будто не замечая, что к ним не ведут натопанные тропки, а стекла заклеены кружевными салфетками инея. Продравшись через сугробы к крыльцу давно умерших Мыльниковых, незнакомец отчаянно забарабанил в дверь:

– Анна Степановна! Анна Степановна! Не надо ли дров поколоть?!

В пустой промерзшей избе, проданной горожанам и оживавшей только в дачный период, на этот стук отозвалось, заворчало сердитое эхо, недовольное, что его разбудили, не дождав-шись лета. Дверь, потревоженная ударами, жалобно задрожала.

– Анны Степановны нет! – крикнул Вадим бодрому старичку. – Пять лет как умерла!

В абсолютной тишине, в первых голубоватых сумерках его голос подхватило неуместно веселое эхо. В отместку за прерванный сон оно непристойно задрало юбку девственной тишины и крикнуло прямо под подол разнузданное: «Ла! Ла! Ла!» И на этот звук новым приступом лая захлебнулись собаки. Среди белого безмолвия их напугали громкие голоса, запах незнакомца. Обычно псов тревожили лишь зайцы и лоси, да изредка в погоне за длинноухим в деревню забегала лиса. В Евсеевку редко заходили люди.

Вадим называл себя в шутку последним из могикан. Он был совсем еще молод по деревенским меркам – и сорока не стукнуло, крепок, высок и статен, но жил бобылем, зимогорил один в малюсенькой деревеньке. На такой подвиг затворничества решались обычно дышащие на ладан старики, которых переезд в город страшил сильнее смерти. И все в округе удивлялись: как только не скучно молодому мужику куковать в богом забытой Евсеевке? На это у Вадима были свои причины. «В городе я буду кто? Шиш да никто! А здесь я комендант Евсеевки», – улыбался он на вопросы любопытствующих. Дедок, неловко барахтаясь, выбрался из сугроба, подошел к коменданту.

– Здорово, хозяин! Не нужен ли работник дрова колоть? А хочешь, снег тебе враз откидаю! Я хоть и стар, но работник крепкий. Пусти, Вадимко, переночевать, я тебе песен спою, – улыбаясь беззубым ртом, попросил странник, и тут Вадим узнал его.

Это был Женя Иванов – деревенский дурачок из деревни Васильевское, на месте которой теперь осталось только небольшое поле в окружении еловых лесов. Когда-то Женя жил вдвоем с матерью Манефой Николаевной. Летом пас скотину, а зимой подрабатывал тем, что нанимался к соседям колоть дрова.

Был у Жени и еще один вид заработка: на всю округу славился дурачок как искусный певец. Хочешь – русские народные исполнит, а хочешь – эстраду, да что там эстраду! Даже оперные партии! Один-единственный из всех местных жителей Женя радовался, когда по телику или радио передавали оперы. Он каким-то чудесным образом умел их слушать и понимать: пусть ума и не дал ему Бог, но зато дал чуткий слух и богатый голос.

Дурачка приглашали как певца на свадьбы и юбилеи и немного платили за выступления. Женя раскланивался перед народом и важно объявлял: «Начинаем концерт по заявкам сельчан. Первая песня – для молодых!» Затем следовала вторая песня – для родителей жениха, третья – для родителей невесты, четвертая – для свидетелей и так далее для каждого гостя. Но теперь где те молодожены? Где те юбиляры? Лежат под крестами и памятниками. Когда Манефа Николаевна, последняя жительница Васильевского, умерла, Женю увезли в дом инвалидов в райцентре, откуда он примерно раз в год сбегал.

У дурачка никак не укладывалось в голове, что его деревни больше не существует. Он думал, что однажды вернется туда, а все избы стоят целехонькие на месте, и снова можно будет летом пасти коров, зимой колоть дрова и развлекать сельчан своими песнями.

– Женья, твою ж мать! Ты что, опять из дурдома сбежал? – вместо приветствия нахмурился Вадим, воткнув лопату в снежную кучу у калитки. Он сразу представил, как придется завтра звонить в райцентр в «дурку», рассказывать, что беглец найден. Приедут Женю забирать, а он же добром никогда не сдается: санитары руки заламывают, а Женья в голос ревмя ревет, как раненая корова, не хочет из родных мест уезжать. Раз на такое полюбишься – долго потом вспоминается.

– В Васильевское-то вон дорога есть от Евсеевки, – вместо ответа на вопрос про дурдом Женья показал в поле за околицу. Там действительно вилась лентой тракторная дорога по снегу. – Избу свою проведаю.

– Дурында! Лес там валят. Гусеничниками таскают. Нет никакого Васильевского – сугробы одни. И нет твоей избы, Женья. Сколько уж раз тебе объясняли! Давно нет. – Вадим достал пачку «Балканки» и закурил.

– Это все Жара, Вадимко, – с уверенностью заявил старичок-дурачок, снял голицу и деловито высморкался.

– Какая еще жара? – рассмеялся Вадим, но в памяти после Жениных слов тут же зашевелились любимые когда-то в детстве бабкины байки, что жил-де в деревне Бакшейка ведьмак по имени Иван Жара. Мол, мог он так людей заколдовать, что не узнавали они своих деревень и не могли без чужой помощи найти родную избу. – Сказки все это, Женья. Легенды. Понимаешь? Неправда это.

– А мать сказывала, что правда. А бабушка, та и видывала его. Заколдовал меня Жара! Вот и не могу избу свою найти. Помоги мне, Вадимко. Пойдем вместе в Васильевское, ты-то не заколдован, в избу меня приведешь.

– Да этот Жара умер хрен знает в каком году, за сто лет до твоего рождения! – махнул рукой Вадим, но про сказки уже не заикался.

– А что это, Вадимко, за будка красная? – Женья указал на красную телефонную будку посреди деревни.

Когда-то о телефонной связи сельчане могли только мечтать: заветные аппараты в лучшем случае работали в колхозной конторе или на почте. Потом появились сотовые, и все деревенские обзавелись ими. И вот тут оказалось, что наконец-то и до медвежьих углов дошла очередь телефонизироваться. Уличные телефонные будки установили в каждой деревне. Правда, чтобы звонить, требовались какие-то особые пластиковые карточки. Что за карточки? Где их покупать? Никто не знал. Все по-прежнему пользовались сотовыми. А будки краснели, как диковинные язвы: летом – среди зелени, зимой – среди снега.

– Это, Женья, власть о нас, крестьянах, вспомнила. Телефоны поставили, – объяснил Вадим.

– Да ну?! – обрадовался Женья. – Как в конторе у председателя! А куда звонить можно?

– Напрямую к Богу, – усмехнулся Вадим, сплюнул под ноги и прижег белесое тело сугроба своим чинариком.

– А номер какой набирать? – ничуть не усомнился в его словах дурачок.

– Да любой жми. Не ошибешься, – рассмеялся Вадим. – А ты чё, цифры знаешь?

– Нет, – честно сознался Женья.

– Тогда тем более. Жми подряд все кнопки! Ну что с тобой делать? Пойдем в избу, накормлю, да и спать будем. – О том, что завтра придется звонить в «дурку», Вадим благополучно не стал сообщать своему гостю, а то Женья из Евсеевки сбежит, еще, не дай бог, замерзнет где-нибудь в лесах у бывшего Васильевского.

В избе оказалось, что валенки у Жени обуты на голые ноги и ступни черные от валяной шерсти, рубашка рваная, а шея коричневая от въевшейся в нее грязи.

– Ёкарный бабай, Женя! Да вас что, там не моют? А носки-то где? – всплеснул руками Вадим.

– Носков... нет, – выдержав паузу, застенчиво признался дурачок и шмыгнул носом.

– Твое счастье: я вчера баню топил. Воды там осталось. Сейчас полешек в печь кину, подтоплю заново, и помыться сходишь.

Вадим быстро истопил баню, еще не вполне успевшую остыть со вчерашнего дня, и отправил гостя на помывку, выдав ему смену одежды со своего плеча. А потом, глядя, как жадно Женя уписывает за обе щеки рис, сваренный с лосятиной, осторожно поинтересовался:

– Женя, а как вас там кормят? Хорошо, плохо?

– Когда капусту дают – так худо, Вадимко. А когда селедку с перловкой – так хорошо.

– Понятно, – кивнул Вадим, думая, как же надо изголодаться, чтобы перловка с селедкой попадала в категорию «хорошо». – Долго до Евсеевки добирался?

– Утром ушел. На дороге голосовал, доехал до Первача, а оттуда – пешком.

– Санитары-то вас не обижают?

– Нет. Только танцевать водят.

– Как это?

– На женское отделение с бабами танцевать ночью. Стыдно, – поежился Женя, и Вадим прекратил расспросы. Вместо этого налил большую кружку черного, как деготь, и сладкого до густоты чая, выдал гостю пряников из райпо. Наевшись, Женя встал из-за стола, чинно перекрестился у иконы в красном углу:

– Слава Богу! Спасибо, хозяин! Чего тебе спеть?

– Спеть?! – расхохотался Вадим. – Да ничего не нужно. Песни эти мне по барабану!

– Так положено: отплатить за ужин, – строго объяснил Женя и уже помягче подсказал: – Мужики-то, Вадимко, обычно частушки просят, ну, или про войну.

– Вот только не про войну, – сразу остановил Вадим, – и не частушки. Надоел юмор: по телеку только его и кажут. Давай про охоту, что ли. Про охоту знаешь чё?

– Знаю колыбельную, – строго кивнул Вадим и запел чистым тенором. Голос его неожиданно утратил старческую скрипучесть и стал чистым и нежным, будто у совсем молоденького юноши:

На чистой пушистой постели,
Примятой следами зайчат,
Уснули красавицы ели
И сосны могучие спят.
Бай-бай, засыпай!..

Вадим пристрастился к охоте еще в раннем детстве. Он родился в Евсеевке и рос обычным деревенским мальчишкой: как и все, любил с техникой возиться, как и многие, после школы выучился на тракториста в райцентре. До армии по примеру большинства успел в колхозе чуть-чуть поработать, а потом призыв, отвальная, военкомат...

Попал Вадим в самое пекло – в первую чеченскую кампанию. А когда после контузии и госпиталя вернулся домой, оказалось, что восемнадцатилетний период до армии сжался и усох до размеров табачной крошки в солдатском кармане, а сама война – всего-то несколько месяцев и успел прослужить до контузии! – наоборот, расплзлась, будто гангрена, и вытеснила все остальные воспоминания. Евсеевка и деревни в округе остались теми же, и люди не сильно изменились, но вот сам Вадим не принадлежал больше этому миру, словно злой колдун выгрыз у него частичку души и разума.

Хуже всего, что Вадим, как ни силился, не мог облечь в слова произошедшие в нем перемены, да и вообще не мог про Чечню рассказывать, не знал, с чего начинать и чем заканчивать. Жалел, что на расспросы деревенских нельзя ответить, как киношному брату, мол, «в штабе писарем отсиделся». Спросят мужики, мол, как, Вадимко, там было-то? А он помычит, замямлит что-то непонятное, так и спрашивать перестали, только удивлялись: почему балагур Вадимко вдруг и двух слов связать не может?

И только в одиночестве в лесу Вадим не чувствовал груза воспоминаний, на охоте лишь тяжесть ружья и рюкзака за спиной оставалась с ним. Слушая колыбельную, Вадим представил, как сейчас за Евсеевкой дремлет еловый лес, и зайцы с лисами в их вечной погоне опять изрешетили следами весь снег под раскидистыми лапами. Мелодия колыбельной показалась ему смутно знакомой. Вадим закурил у шестка русской печки.

И только голодные волки
Добычу выходят искать,
Но спят все ребята в поселке.
Пора и тебе засыпать.
Бай-бай, засыпай!..

Сквозь клубы табачного дыма Вадим увидел прочно утонувший в безднах памяти зимний вечер: бабушка брякает коклюшками, мама и папа еще на ферме, коров доят, а они со старшим братом и младшей сестрой сидят на печке. Греются после долгого катания на санках. Посреди кухни стоит Женя. Он весь день колот дрова: отец его нанял. Теперь дурачок поужинал и забавляет ребятшек. И тут голос Жени из воспоминания слился в унисон с песней Жени из сегодняшнего дня:

А вырастешь сильным и смелым
И тайны лесные поймешь.
Охотником станешь умелым.
За зверем по следу пойдешь.
Бай-бай, засыпай!..

Когда певец закончил, Вадим решительно произнес, не глядя ему в глаза:
– Хорошо, Женя. Потешил – спасибо. Телик давай смотреть. Да и спать будем.

Посмотрели какой-то сериал. Вадим хотел устроить дурачку постель на диване, но Женя попросился спать на русскую печку, заставленную пятаками с растянутыми на них шкурами белок и куниц. Хозяин пятаки отодвинул к стене, бросил на лежанку старое одеяло и подушку, и дурачок блаженно растянулся на горячих кирпичках.

В полудреме Вадиму все чудилась колыбельная, и под ее мелодию, звучащую в голове, вспомнились дочки-пташки. Когда-то Вадим был женат. Поначалу после армии он честно пытался стать нормальным парнем, чтоб все, как у людей, чтоб не хуже других. Так и обещал себе, даже проговаривал вслух, троекратно, нараспев, когда не слышал никто: «Буду нор-маль-ным! Буду нор-маль-ным! Буду нор-маль-ным!» Но эта мантра не дала результата. Пробовал залить так и неназванное горе водкой, но, напившись, впадал в бешенство.

Тогда еще жили в Евсеевке вместе с Вадимом его родители. Раз залег за поленницей, а чудилось, что лежит в укрытии, и метал дровами в родных отца да мать, а казалось, что гранаты кидает... Слава богу, дело было на выходных, в отчем доме гостил старший брат, приехал на выходные из города. Братан с отцом и скрутили Вадима, связали, отнесли в баню да окатили ледяной водой, чтоб очухался... Пришел в себя вояка, а что с ним происходило сегодня и вчера, не помнит. Вадим сообразил, что это, должно быть, последствия контузии. К врачам

обращался, так те чуть в психушку его не закатали, еле отбрехался потом, что, мол, от пьянки в мозгах случилось короткое замыкание.

Решил женитьбой спастись. Расписались с одноклассницей Светкой Иволгиной, она Вадиму еще в школе нравилась. Худенькая, невысокая, на птичку похожая, Иволгой ее и дразнили. Попробовали жить своей семьей в поселке Первач за десять километров от Евсеевки. Квартира у Светки двухкомнатная, от бабки в наследство осталась, двойню родили – дочек Таньку и Наташку. Вадим слесарил на ферме, жена продавцом в магазине работала. Что еще надо? Казалось бы, живи – не тужи! Но водка и приступы беспамятного бешенства разбили семью. Улетела Иволга жить в Вологду, квартиру продала и дочек-птенчиков с собой увезла.

Вадим вернулся в Евсеевку, устроился сторожем в тракторные мастерские в соседней большой деревне. Иногда уходил в запой, но выучил свою норму, тот предел, за которым – Вадим знал – его ждет окончательное безумие.

Дочек в городе он навещал редко, но исправно платил крохотные алименты. В трактористы его из-за контузии больше не брали, из слесарей за пьянку уволили, а у сторожа велик ли доход? Но Вадим всегда был удачливым охотником. Зимой он добывал пушнину, весной продавал ее скупщикам из Москвы и, накопив энную сумму, каждой дочке вез «денежек с калыма». Так и говорил девчонкам: «Танька, Наташка, денежки с калыма! На куклы и платья!» А Иволге передавал мешок с «лесным» мясом – лосятиной или кабанятиной. А потом последние соседи по Евсеевке – старики Мыльниковы – умерли, родители состарились, и старший брат на зиму стал забирать их к себе в город. В октябре увозил отца с матерью с внуками водиться, а в апреле привозил обратно: родители тосковали по своей избе и на лето возвращались в деревню. «Перелетные у меня предки, будто гуси», – шутил Вадим. Так и повелось, что полгода он жил в Евсеевке с семьей, а полгода – в полном одиночестве. Компанию ему составляли две лайки – Тобол и Ямал, да еще кот Рыжко. «Скоро весна, пора шкурки продать, съездить и проведать. Кукол купить. Сладостей. «Денежки с калыма» поделить между Наташкой и Танькой поровну, – размышлял Вадим. – Давно не навещал. Хорошо, что Светка замуж пока не вышла. Когда в доме появится другой мужик, неизвестно, как оно будет».

При одной мысли о чужаке у Вадима вдруг сжались кулаки. Но он оговорил сам себя: виноват, виноват! Сам пил и бузил. Вот и упорхнула Иволга! «Да и что об этом думать, пока, пока-то она одна! И девки-птахи ждут». – И Вадим провалился в чуткий, некрепкий сон.

Очнулся среди ночи и резко вскочил, будто кто пнул под ребра. В похолодевшей избе сиял неземной свет: в окно заглядывала полная луна с россыпью свечек-звезд. Вадим глянул на печь, где спал гость, и сразу же вскочил на ноги. Жени на месте не было! И гадать нечего – сбежал в Васильевское. Вадим по-солдатски скоро оделся, на всякий случай взял одностволку с патронташем из сейфа: по ночам в округе, как в той колыбельной, бывает, что и «голодные волки добычу выходят искать». Прихватил фонарик, хотя нужды в нем в такую светлую ночь не было.

Быстро, будто новобранец кросс бежал, Вадим преследовал беглеца по лесной тракторной дороге и, как и предполагал, нашел его на месте нежилого Васильевского. Дурачок свернул с тракторного следа и прямо по сугробам поплелся к тому месту, где когда-то стояли избы, а теперь сохранился лишь остаток чьего-то сада с десятком яблонь да торчала из снега нелепым мухомором красная телефонная будка. Она появилась здесь из-за бюрократической ошибки: в нежилой деревне все еще числился прописанным давно умерший Женин отец – дядя Матвей. В каждой деревне, где по бумагам оставался хоть один житель, положено было установить такой аппарат – вот и поставили, а что звонить давно некому, кто ж об этом задумался?

Дурачок почти не проваливался в снег. Наст сверкал под луной, как морская гладь, и Женя шел по снежным бликам, будто по воде босиком ступал. Вадим спрятался за придорожным сугробом. Интересно стало, что дурачок дальше делать будет? Да и неловко как-то сразу-

то окликнуть. Человек даже из «дурки» сбежал, если не с родными людьми, так хоть с родными местами повидаться.

Женя добрался до телефонной будки, снял трубку и беспорядочно понажимал на кнопки. Затем внятно и громко произнес:

– Алё, Боже? Это я, Господи, Женя из Васильевского. Помоги мне, Отец Небесный, домой вернуться, избу свою отыскать.

Вадим разом покрылся холодным, противным потом, сполз по снежному боку, как подстреленный, и зажал руками рот: то ли чтоб не заплакать, то ли чтоб не рассмеяться.

– Господи, я знаю, что Ты людям не отвечаешь. Мать рассказывала, что глас Твой не можно нам вынести. Ты ее там береги у себя, Господи, рабу Божью Манефу и всю деревню нашу...

И тут Женя начал перечислять имена умерших односельчан, всех до единого, и никого не забыл. Вадим почувствовал, что по щекам течет что-то липкое, горячее, он схватил зубами кулак, чтоб не завыть, а Женя продолжал:

– Передаю, Господи, им концерт. Прими, Боже, по заявкам сельчан. Первая песня – для мамы моей, Манефы Николаевны.

Вадим ждал, что Женя запоем что-то церковное, но он тихо и торжественно завел песню о первом, что увидел вокруг:

В лунном сиянье снег серебрится,
Вдоль по дороженьке троечка мчится.
Динь-динь-динь, динь-динь-динь!
Колокольчик звенит.
Этот звон, этот звон о любви говорит.

Благовестом зазвучало «динь-динь-динь» под куполом небесного свода. У Вадима словно сжалась внутри живота горькая спираль, а потом разом выпрямилась, больно ударив под дых. Скрючившись, он упал на дорогу, захлебываясь в безголосых судорогах, как в спасительной рвоте, и чувствуя, как слезами выходит наружу застарелый яд, не имеющий названия, яд от гадюки-войны. Беззвучно корчась на дорожной ленте, Вадим уже понимал, что не сможет сдать Женю в «дурку» ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц и будет отстаивать и дурачка, и Васильевское, и Евсеевку, и дочек-пташек до последнего дыхания, как и положено всякому воину. «Я-то тоже заколдованный! В родной избе живу, а с войны не вернулся!» – понял Вадим, крепко зажимая себе рот ладонью, чтобы нечаянным всхлипом не помешать певцу.

Над вековыми лесами дерзко полетели к звездам частушки. Это Женя объявил и начал исполнять вторую заявку: для отца своего, контуженного фронтовика дяди Матвея, Женя пел любимые батины частушки:

Раскачу я нынче избу
До последнего венца.
Не пой, сынок, военных песен,
Не расстраивай отца...

Забывай как звали

– Ты же все равно в Первач каждый выходной ездешь? Возьми меня с собой! – попросил Саня после репетиции.

Первач – это поселок Первомайский недалеко от города, а Саня – это басист в нашей рок-группе, где я играю на ритм-гитаре. Поехать в Первач самостоятельно Саня не может. Он инвалид по зрению. Почти ничего не видит. На сцену мы выводим Саню за руку и забираем так же. Признаюсь честно: иногда после выступления забываем его там, но не по злему умыслу, а от волнения. Саня в таких случаях не нервничает. Он единственный из нас профессионал – окончил музыкальный колледж. Саня не обижается. Понимает, мы потому не можем справиться с волнением, что как раз не профессионалы. Пел ведь Майк Науменко: «Я люблю только любительские группы!» – вот и Саня тоже только их и любит.

Накануне поездки в Первач Саня попросил меня еще кое о чем: «Вставь меня куда-нибудь в свой рассказ!» Кроме рок-музыки, я балуюсь поэзией и прозой. И вот я выполняю сразу обе просьбы: везу Саню в Первач и пишу рассказ про то, как я везу Саню в Первач. Получается, что мы путешествуем сразу в двух реальностях: внутри моего текста и снаружи. Если представить, что мы с Саней едем в Первач на машине, получится, что я управляю автомобилем, а Саня сидит рядом и одновременно другой Саня, тот, который из рассказа, и мое другое «я» (тоже из рассказа) бегут за машиной следом, чудесным образом умудряясь не отстать ни на шаг.

Первач, ни в одной из этих реальностей мне не хочется везти к тебе Саню.

Первач – однотипные коробки серых малоэтажек, грязные узкие дорожки между ними, приземистая контора местного колхоза, пара магазинов, обшарпанный ДК, медпункт, садик и школа в окружении многочисленных огородов. Грядки издаലെка напоминают могилы без надгробий. Настоящее кладбище расположено за Первачом, и поселок мертвых растет быстрее, чем поселок живых.

Первач построен в низине, и когда идет дождь, все улицы превращаются в затопленную до краев выгребную яму, потому что местные жители не утруждают себя необходимостью выкидывать мусор в урны, да и урн здесь нет. Впрочем, есть четыре контейнера под отходы, на языке местных – «мульды». Мульды гордо возвышаются прямо в центре поселка, недалеко от памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В Первач из окрестных деревень съезжаются доживать свой век старики и совсем уж беспомощные инвалиды, которые больше не могут сами топить печи и носить воду. Все жилье в Перваче благоустроено – центральное отопление, вода горячая и холодная. Это недодеревня и недогород, населенный пункт на границе миров. Из молодежи здесь оказываются только те, кому недостает способностей и таланта зацепиться в городе хоть за какую-нибудь работу, хоть за самое паршивое съемное жилье. Несмотря на молодость, они тоже в Перваче доживают.

Первач, ты Сани не получишь. Я могу забыть его на сцене, но я не забуду его здесь. И знай, что музыканты одной рок-группы ревнуют друг друга ко всему, к любому столбу, даже если этот столб из иной реальности.

У Сани характер нордический, стойкий, а кроме того, мягкие, правильные черты лица и роскошные кудрявые волосы до плеч. На сцене он величественно, несмотря на невысокий рост, возвышается над зрительным залом и благосклонно принимает восторженные крики девчонок.

Впрочем, шансов у поклонниц нет. Саня женат и в двадцать два года уже успел стать отцом двоих детей.

Саню любят фотографии. Все их снимки похожи друг на друга: в центре кадра в рассеянном мягком свете сидит или стоит Саня, одухотворенно глядящий прямо на зрителя, но не в объектив, а как бы мимо, в некое незримое для всех остальных пространство. От пушистых кудрявых локонов исходит легкое золотистое сияние. Черты лица немного размыты, совсем чуть-чуть, будто от времени, как на полотнах мастеров эпохи Возрождения. Рок-музыкантов часто сравнивают с пиратами или воинами, но фотографии видят в Сане молодого флорентийского купца из приличного зажиточного семейства той эпохи, когда Микеланджело ругался с папой Юлием II и расписывал Сикстинскую капеллу.

Первач, на твоих улицах можно решить, что Флоренции не существует вовсе, и нет там никакой Сикстинской капеллы, и ничего нет, кроме тебя, Первач.

Наша с Саней дружба началась еще в подростковом возрасте. Мы познакомились с ним в деревне Пожарища, где живут мои родители и где у Саниной семьи есть дача. Недавно в гости на эту дачу приезжал Санин дядюшка из Первача. Дядька пьет по-черному и в гостях, естественно, набухался в стельку, поэтому забыл у Сани свой сотовый. Обнаружил пропажу только дома. Теперь Саня собирается ехать со мной в Первач, чтобы вернуть дядьке телефон.

А у меня в Перваче живет брат Гера, тоже инвалид, но с ДЦП. Гера никогда не выходит из квартиры. Из комнаты в комнату ползает на коленях, которые никогда не разгибались и никогда не разогнутся. Это самый мужественный парень из всех, кого я знаю. Он живет один с тех пор, как умерла его мама – тетя Фая. Она скончалась в возрасте девяти лет одного года, и меня никак не покидает мысль о том, что тетя Фая так долго прожила для него – для Геры. Других детей у нее не было.

Сразу после похорон моя семья предложила Гере переехать к нам, но брат решительно отказался. «Я сам справлюсь. Ко мне соцработник ходит. У меня все в порядке, не волнуйтесь!» – объяснил он и так выразительно посмотрел на родню, что стало понятно: продолжить уговоры – значит обидеть его, значит выразить сомнение в Герином праве жить самостоятельно и независимо.

Соцработник Светка приходит к Гере два раза в день – готовит еду, прибирается, а по средам у Светки «чистый день»: она моет всех подопечных на своем участке, в том числе и моего брата. «Чистый день» только один раз стал «черным»: тетя Фая умерла как раз в среду. Как воины древности, которые отказывались мыться в знак траура по погибшему товарищу, старики и инвалиды в этот день не стали принимать ванну. Почти все они не выходят из дома, как и Гера, но знают всё друг о друге благодаря Светке, которая приносит им новости о жизни и смерти.

Светка еще совсем молодая женщина, но у нее уже трое детей, ее уже бросил муж, а за плечами всего лишь специальность бухгалтера, корочки ПТУ. В городе не нужны бухгалтеры-пэтэушницы, а в Перваче тем более. Но зато в поселке полно стариков и инвалидов, которым не прожить без соцработника, и зарплата в шесть тысяч рублей в вечно безработном Перваче – это целое состояние. К тому же многие подопечные доплачивают ей из своего кармана. Гера, например, каждый месяц дает Светке небольшую сумму, чтобы она приходила к нему почаще.

Раз в полгода Светка ездит в парикмахерскую в райцентр и возвращается оттуда всегда с одной и той же прической, которая обозначена в прейскуранте как «химия на короткие волосы». Всякий раз старики и инвалиды интересуются, сколько стоила стрижка, жалуются на растущие цены, даже если цена прически не изменилась по сравнению с прошлым полугодием, и щедро расточают похвалы Светкиной красоте.

Первач, есть ли хоть один человек, который назвал бы тебя красивым? Признайся, ты завидуешь Светке, Первач?

Гера проводит дни между телевизором, радио и книгами, иногда совершает вылазки по квартире. По воскресеньям к Гере приезжаю я. И так будет продолжаться неделя за неделей, год за годом. Говорят, пророкам мучительно знать свое будущее. Мы с Герой – пророки-пофигисты. Мы оба с самого детства знаем, какое у Геры прошлое, настоящее и будущее, но не паримся по этому поводу, потому что все равно бесполезно. Куда важнее программа передач на следующую неделю, новая книга Бориса Акунина и следующее воскресенье, когда я вновь приеду к Гере и привезу ему банку пива, или пакет сока, или мороженое, или мягкую сочную грушу, ноутбук с фотками и видео с наших концертов. Посидим, выпьем, поболтаем...

Кажется, что Гера за все эти годы ни разу не путешествовал дальше своей кухни, но это не так. Мы с братом вычитали в журнале «Вокруг света», что, оказывается, даже стоя на коленях посреди своей квартиры, человек передвигается в пространстве. За счет вращения Земли вокруг своей оси все мы ежеминутно смещаемся на двадцать пять километров и одновременно пролетаем около тысячи восьмисот километров вокруг Солнца. Вертится планета, вертятся вместе с нею Италия и Россия, вертятся город Флоренция и поселок Первач, вертится Сикстинская капелла, и вертится безымянный дом, где в угловой квартире на первом этаже сидит Гера. Мой брат летит во Вселенной, разрезая с огромной скоростью пространство и время. Он совершает путешествие, встав на колени, подобно паломникам.

Мне нравится ездить к брату, но я не люблю тебя, Первач, особенно за то, что мой брат заключен внутри твоего каменного брюха и отказывается покинуть его.

Как только я отправляюсь в Первач, погода портится. Вот и в этот раз всю неделю стояли погожие сентябрьские деньки, а в воскресенье с раннего утра зарядил мелкий частый дождик. Мы с Саней вымокли до нитки, пока ждали рейсовый автобус на городской автостанции, а когда подъехали к Первачу, поселок выглядел будто декорации к военному фильму – настоящее еврейское гетто из кинокартин про Вторую мировую. И даже странно было, что нас не встретил кордон на въезде, что не стояли у шлагбаума крепкие плечистые парни со свастикой на рукавах. Впрочем, дождь – чем тебе не кордон? Он пролился на землю таким густым потоком, что Первач легко было не заметить за его серой колючей завесой.

Мне иногда кажется, что поселок заколдован и даже дети превращаются тут в нелепых и злых старцев. У магазина мы с Саней увидели такую сцену: мальчик лет десяти нехотя мутузил девочку-ровесницу. Он прижал ее к стенке и наносил удары то в живот, то в грудь. Так бывалый алкоголик лупит жену – не потому, что разозлился на нее, а потому, что привык лупить. Стоило прикрикнуть на маленького гопника, как он тут же убежал, а девочка, будто взрослая, все повидавшая баба, виновато втянула голову в плечи и, запинаясь, побрела прочь, в сторону общаги.

Мы последовали за девочкой: нам тоже нужно было в общагу. Там живет Санин дядька, а вместе с ним и Санина бабушка. Девчонка, заметив, что мы идем за ней, занервничала, стала оглядываться часто, боясь, что мы преследуем ее, и у медпункта бросилась наутек в другую сторону.

В общаге мы долго плутали в лабиринте полутемных, почти неосвещенных коридоров, заполненных запахом пивного перегара и жареной картошки с луком. В два ряда совершенно одинаковые двери. Саня, конечно, знает номер комнаты, но что толку? Номеров на дверях нет.

В полутьме Саня с его остаточным зрением теряет всякую способность ориентироваться. Вести его за руку я здесь не могу: коридоры слишком узки, двоим не разойтись. Саня кладет руку на мое плечо и так, держась за меня, идет за моей спиной след в след, иногда наступая на пятки. Наконец каким-то чутьем, только благодаря хорошо развитой у музыкантов интуи-

ции, находим нужную дверь. На стук открывает Санин дядька. Он материализуется в дверном проеме из клубов табачного дыма.

Увидев Саню, дядька, как Чеширский кот, весь превратился в улыбку.

– Саня!!! – заорал он от радости. – Да как ты здесь оказался?! Вот молодец, что приехал! Заходите!

На удивление, дядька был трезв. Мы поздоровались, пожимая друг другу руки, и Саня объяснил:

– Дядь, некогда нам. Нам еще к Гере надо. Вот, телефон купить не хочешь? – и, смеясь, достал из кармана старый потрепанный мобильник.

– Ё-мое! Саня! А я-то думал, ну все, без телефона остался! Спасибо! – Дядька чуть не прыгал от радости, совсем как ребенок. – Так хоть чаю-то попейте! Блин, Саня, и бабка у меня спит, не увидит тебя! Она теперь почти все время спит, старость не радость. И будить бесполезно – все равно не проснется...

– Что ж, восемьдесят семь лет – не шутка, – кивает Саня. – Некогда нам, правда, к Гере надо успеть до автобуса.

И тут за спиной у дядьки через клубы дыма стала видна обстановка малюсенькой комнаты. Два дивана по стенам, между ними столик. В углу какой-то шкаф, нечто среднее между сервантом и комодом. На одном из диванов в коконе рваного одеяла спит Санина бабушка. Мы громко разговариваем, но, кажется, ей это не мешает.

Какие сны видят твои старики, Первач? Спорим, им снятся родные деревни, в которых они когда-то жили. Тебя ведь это бесит, правда, Первач?

Как только выходим из общаги, я задаю вопрос, который так и вертится у меня на языке все это время:

– Саня, почему твой дядька сегодня трезвый?

Саня смеется:

– Так у них сегодня «пересменка». У них же план составлен. Дядька летом работал в колхозе. Семнадцатого августа получил зарплату, до семнадцатого сентября ее пропивал с Галькой, подругой своей. Девятнадцатого сентября бабка пенсию получит, тогда начнут пенсию пропивать. Четвертого октября у Гальки тоже пенсия, будут на Галькины деньги пить. А сегодня как раз восемнадцатое сентября – «сухой день». Они всегда себе выходной устраивают, перед тем как им деньги выдадут.

Первач, нигде нет такой горькой, такой ядовитой водки, как в твоих магазинах.

После визита в общежитие отправляемся к Гере.

Услышав ключ в замке, Гера выполз к нам навстречу в прихожую. Он не может сам открыть входную дверь, поэтому и у меня, и у соцработника Светки свои ключи.

– Привет! – Гера тянет ко мне ладонь для рукопожатия. На ней – широкая белая мозоль. Передвигаясь на коленях из комнаты в комнату, Гера с силой опирается на ладони, и на них «натаптываются» твердые подушечки.

– Привет! – Я жму руку брату. – А я сегодня с гостем! Это наш басист Саня, ты его по видео знаешь. Саня, это мой брат Гера.

Далее происходит короткая заминка: Саня не видит руку Геры. Гера знает из моих рассказов, что у Сани большие проблемы со зрением, и пытается поймать его ладонь, но из-за плохой координации промахивается и с размаху здоровается с пустым пространством. Я беру Санину руку и вкладываю в руку Геры. Мозоли на пальцах басиста соприкасаются с мозолями на ладонях Геры. В этот момент словно считываются какие-то коды. Приветствие состоялось.

Я усаживаю Саню на стул. Теперь надо подсказать им тему для беседы. Закидываю пробный камень:

– Гера, вот тебе для компании такой же идеалист, представь, он, как и ты, все еще за «Спартак» болеет.

Камень попадает в цель. Оказывается, как раз вчера «Спартак» играл с ЦСКА и, естественно, проиграл. Они начинают увлеченно обсуждать матч. Как и когда отбил мяч Акинфеев, кто долго не пасовал и потерял подачу, почему пора сменить тренера... В это время я выполняю нехитрую работу по хозяйству. На кухне перегорела лампочка – меняю. У Геры на столе стоит грязная чашка – мою. Выношу мусор в мульты в центре поселка. Возвращаюсь. Гера и Саня уже обсуждают Кубок УЕФА. Открываю привезенную для брата банку пива (без чужой помощи Гере пиво не открыть) и оборачиваю в целлофановый пакет, чтобы не выдохлось.

Тети Фаи теперь нет, и квартира, будто живое существо, скорбит по ней и живет воспоминаниями. На стене в кухне висит записка, вырезанная из районной газеты. Тете Фае очень понравилась коротенькая статья про некую бабушку Ульяну. У этой бабушки было пятеро детей и много внуков, и все ее любили. На фото счастливая старушка снята в окружении не менее счастливых ребятишек, которые дружно обнимают ее.

Тетя Фая неровно, дрожащими руками вырезала записку и приколотла булавкой к обоям. Ни у меня, ни у Светки не хватает духа снять эту вырезку. Снять – значит захлопнуть окно в другой мир, в иную реальность, где нет одиноких бабушек, где все старушки окружены ватагой смеющихся внуков. В шкафу, где хранятся крупы и хлеб, на стене тоже висят фотки – моя и Герина. Тетя Фая приклеила их пластырем. От времени пластырь пожелтел.

В большой комнате от стен отваливаются обои. Это потому, что тетя Фая не давала нам сделать ремонт. Она тяжело болела в последнее время и опасалась лишних хлопот, берегла силы. Тетя Фая боялась слечь, потерять способность ходить, ведь тогда она не смогла бы сама заботиться о Гере. Говорила: «Вот не станет меня, тогда делайте что хотите!»

Ее не стало, а мы ничего не хотим пока. Решили с Герой и Светкой, что с ремонтом подождем до весны. Обои свисают, как лоскуты кожи. На кресле лежат пушистые шерстяные носки тети Фаи. Она ходила в них даже летом. Так и будут лежать до весны. Я сейчас завидую Сане: он не видит ни этих облезлых стен, ни вырезок про бабушку Ульяну, ни носков на кресле... Где бы взять такой пластырь, чтоб заклеить эту рану?

Первач – режет и рвет, рвач – не врач.

Гера приглашает попить чаю, и мы чаевничаем втроем. Болтаем о футболе, о новом альбоме группы «Сплин», конечно, о мерзкой погоде. Через четверть часа мы прощаемся с Герой и идем на автобусную остановку. На удивление, без опоздания приезжает маршрутка-микроавтобус. Садимся с Саней на первое сиденье к водителю в кабину. Дворники размазывают капли дождя по стеклу, а вместе с ними и наше в стекле отражение. Я вижу, как вода смывает мое лицо. Вот я есть, а вот – вжик-вжик! – и меня уже нет.

А кто я? Кто? Как понять по этим строчкам, которые я сейчас пишу о своей поездке в Первач, есть я на самом деле или не было меня, не существовало в реальности? Вот не назову имени своего, не скажу, откуда я, сколько мне лет и какого я пола, и вообще, сказано же в Библии: душа пола не имеет. И потолка не имеет, и стен, и обоев на стенах, и комнаты в общежитии, и шерстяных носков на кресле...

Есть ли у тебя душа, Первач? Куда ты ее спрятал? Под размокшую грядку? Где ты хранишь ее – за одной из безликих дверей в лабиринте общежитских коридоров? Выбросил в мульту, завернув в пакетик, как пропойца-мать недоношенного ребенка? Разлил по бутылкам с самогоном и водкой?

Я еще побуду с тобой до конца этой строчки, а потом возьму Саню за руку и мы прыгнем вместе в лес из черных буковок, спрячемся за ними – и поминай как звали. А еще лучше, пожалуйста, забудь, как нас звали, и тогда в ответ – всего лишь обмен любезностями между старыми врагами – я постараюсь забыть тебя.

Вынырнем с Саней в своей реальности, на автостанции родного уютного города, а напротив – вокзал, с которого уходят поезда в Москву и Питер, а оттуда летают самолеты и можно добраться в любой уголок света – хочешь, во Флоренцию, а хочешь, в Рим. Вернемся к своим концертам, впрыгнем на фотоснимки, запишем свою музыку на дисках и нотной бумаге, как будто и не было тебя, Первач.

Не было и нет.

Что мы знаем о хлебе

– Вы, поколение, выросшее в тепле и заботе, не знавшее ни войны, ни голода! Что вы знаете о хлебе?! – взревел бородатый писатель.

Под высоким потолком школьного зала эта фраза обрела мощь чугунного кулака. Она обрушилась на школьников сверху, ударила им по ушам, и каждый вздрогнул, очнулся от дремы под бубнеж прозаика и по ученической привычке послушно задумался: «Что я знаю о хлебе?»

Писатель был из числа тех, чья фамилия украсит графу «нравственное воспитание» любого педагогического отчета. Он рьяно громил в своих книгах «пороки молодежи» и расписывал «прелесть старины деревенской». Прозаик жил в областной столице в комфортабельной квартире, ключи от которой ему выдали еще при советской власти. В школу его привезли на машине, выпрошенной завучем у администрации колхоза.

Встреча с писателем проходила в промозглый октябрьский день, и за пластиковыми окнами на опустевших клумбах ветер трепал последние жидкие цветки календулы. Так злой учитель хватает за вихры рыжего пацана и таскает в остервенении, мстит за все проказы и шалости.

Примерно половину учеников в школу привозил автобус. В семь утра «пазик» начинал собирать старшеклассников по долам и весям необъятного района. Он курсировал от деревни к деревне, от хутора к ферме, подбирая сонных и продрогших подростков. В Герасимове жил один пацан – Колян из девятого «Б», в Паутинке – одна девчонка, Дашка Лепихина из выпускного, на ферме у хутора Цветково сиделся ее одноклассник Олег, в Батагове – пять человек, в Урочище – Маринка из класса коррекции. Собрав всех, к восьми утра «пазик» привозил старших подростков в поселок Первач и тут же уезжал за учениками начальных классов.

В Перваче находилась большая школа. В ней учились дети со всей округи и, конечно, местные ребята. Поселковые на детском языке именовались центровыми, а приезжие – дальними. Центровые и дальние то развязывали войну, то заключали недолгий мир. Так они познавали на практике то, что в теории в учебниках обществознания называлось «социальным неравенством».

Центровые жили в благоустроенных квартирах городского типа. Они приходили ровно к началу уроков и уходили сразу после их окончания. По вечерам они посещали школьные кружки и секции, а некоторые даже ездили в близкий к поселку райцентр: кто в бассейн, кто в «художку». В Перваче работал клуб с дискотеками по выходным, в нем даже показывали кино, а иногда со спектаклями приезжал ТЮЗ из областной столицы. Центровые были лучше одеты, их сотовые и планшеты выглядели более модными и стоили дороже.

Дальние после уроков подолгу торчали на школьном крыльце в ожидании «пазика», который отвезет домой. Они возвращались в родные избы, где нужно к приходу родителей с работы протопить печи, наносить воды, обрядить скотину.

Среди них встречались такие мальчишки и девчонки, которые знать не знали, что такое детский сад. Сидели до первого класса дома с бабками и потому не умели ни рисовать, ни клеить, ни делать аппликации из цветной бумаги... Называли учительницу Марию Ивановну по деревенской привычке тетей Маней, не могли построиться в шеренгу на физкультуре, путали право и лево, говорили, протяжно окая. В их речи встречались слова, которые центровым были непонятны. Все эти «цуночки» и «гумаги», «гогоны» и «баско» звучали смешно и дико, как язык варваров. И у некоторых дальних вообще не было ни «сотиков», ни планшетов – обычно у тех, кто рос в многодетных семьях.

Где-то на границе шести-семи лет центровые и дальние впервые инстинктом не человека, но звереныша понимали еще не облеченную в слова истину: никакого равенства на самом деле

не существует, что бы там ни заливали авторы учебников. Центровым – «художка» и тренировки, а потом вузы и города, сытая и спокойная жизнь. «Дальним» – дорога да работа, а когда вырастут – работа, работа, работа, работа, работа, работа... Никогда не заканчивающаяся. В воспоминаниях о школе останутся синяки, полученные в драках с центровыми, темные ели, мелькающие за окном автобуса, мороз, пробирающийся в ботинки и валенки, так что невольно поджимаешь пальцы и глубже упикиваешь ноги под сиденье «пазика», и неизбывная, ничем не перебиваемая тоска по дому...

Каждый день дальние совершали путешествие из одной реальности в другую. Школьный «пазик», как машина времени, перевозил детей из умирающих деревень в иную цивилизацию – из прошлого в настоящее. Это путешествие будто отнимало у маленьких дикарей силы родной земли. Оторванные от нее, они становились вялыми, раздражительными и сонными. Пытаясь приободрить самих себя, дальние шутили, что, как в сказках про Гарри Поттера, они совершают трансгрессию всем «пазиком» из деревень в Первач.

Немудрено, что после «трансгрессии» до полудня дальние обычно дремали, наплевав на уроки. И теперь, когда глас писателя – «Что вы знаете о хлебе?!» – разбудил юных варваров, каждый из них завел думу о своем собственном хлебе.

– Что вы знаете о хлебе?

Дашка Лепихина думала о том, что после уроков до прихода школьного автобуса нужно успеть купить хлеба в колхозном магазине. Четыре буханки и два батона для своей семьи и еще одну буханку, чтобы съесть ее прямо в «пазике» вместе с многочисленными двоюродными и троюродными братьями и сестрами, племянниками и племянницами, которые тоже учились в школе в Перваче.

Дашка – представительница не просто семьи, но рода Лепихиных. У ее бабушки – тоже Дарьи – было более полусотни внуков и правнуков, и большинство из них жили в окрестных деревнях. Восемь внуков-правнуков, включая саму Дашку, пока еще учились в школе.

Бабу Дашу – почетную колхозницу, знатную доярку и мать-героиню – знал чуть ли не весь район. Это была круглолицая и очень худенькая старушка, глядя на которую не верилось, что вот эта вот маленькая женщина когда-то родила и вырастила девятерых сыновей. Отец Дашки-младшей был последышем, девятым, последним сыном, поэтому престарелая мать по обычаю осталась коротать свой век в его доме. Каждое утро баба Даша выдавала Дашке-младшей маленькую денежку – одну на всех потомков-школьников. На эти деньги дети Лепихиных, давно и напрочь запутавшиеся, кто кому из них какой родней приходится, обычно покупали буханку хлеба. Не сладости, не чипсы, не сухарики и не лимонад, а именно хлеб. И вовсе не потому, что они нуждались. Наоборот, трудолюбивые семьи Лепихиных жили хоть не богато, но и не бедно. Просто дети успевали серьезно проголодаться за день и давно, как и все дальние, в долгих ожиданиях автобуса усвоили, что от сладкого на пустой желудок можно заболеть. К тому же бабушкиных денег на чипсы или конфеты для восьмерых все равно не хватило бы. А хлеб – ничего, хлеб можно, хлеб вкусно, хлеб – на всех.

Лепихины по-братски делили буханку не только между собой, но и между своими товарищами, так что хлебом от бабы Даши причащался весь школьный «пазик», и даже водителя дядю Лёшу дети угощали, но он всякий раз отказывался. Самыми вкусными считались горбушки и черная корочка. «Горбухи» всегда доставались младшей и старшей – первокласснице Нинке Лепихиной и выпускнице Дашке. «Ешьте, девки! Кто горбухи ест, у того титьки больше вырастут!» – хохотал девятиклассник Серега Лепихин. Если бы кто-то чужой позволил себе такую шутку о его сестрах, то сразу получил бы от Сереги в харю.

Очень редко от буханки оставался мякиш – самая сердцевина, серый клейкий комочек, похожий на мокрого воробья. Вернувшись домой, Дашка отдавала этот мякиш бабушке. «Не

доели мы, бабуль», – немного виновато и в то же время весело говорила Дашка. «Доисть надо!» – строго отвечала баба Даша. Она пережила голодомор сороковых годов и до сих пор тайком от младшего сына сушила у себя под матрасом сухари – так, на всякий случай, на тот самый черный день, от которого любым способом надо спасти каждого из полусотни внуков и правнуков.

Старушка садилась на лавку под иконами и смотрела, как Дашка-младшая, ловко орудуя клюкой, достает из русской печки щи, разливает по тарелкам себе и бабуле. И в кухоньке сладко пахло пареной капустой и мясом. Старая и юная Лепихины вместе обедали. В прикуску со щами баба Даша деснами дожевывала за своими потомками серый клейкий мякиш, потому что сухарь из него получится плохой и может даже заплесневеть под матрасом. А еще потому, что на этом кусочке остались прикосновения всех восьмерых, младших и любимых: шестнадцатилетней Дашки, шестилетки Нинки, хулигана Сереги, тихони Матвея, близнецов Кольки и Димки, красавчика Руслана и задаваки Тоньки.

Мечтая поскорее вернуться домой к бабуле, Дашка слушала писателя вполуха. Она еще не знала, что пройдет всего полгода и бабули не станет. Чтобы проводить доярку-героиню в последний путь, колхозу придется выделить не один, а два «пазика», включая школьный. Но даже в два автобуса потомки бабы Даши уместятся с трудом... И каждый из внуков и правнуков во время этой печальной поездки, глядя в окно или в лица родных, будет вспоминать вкус той самой бабушкиной буханки хлеба – горбушки, корки, мякиша, – но при этом во рту ощущать только горячую едкую соль...

– Что вы знаете о хлебе?!

Маринка Петрова из Урочищ, та самая, что училась в классе коррекции, вспомнила, как в воскресенье проснулась посреди ночи от странного шороха, непохожего на обычную возню крыс. Оказалось, это отчим сделал заначку под печкой. У него там хранился недопитый портвейн и полбуханки черного хлеба.

У Маринки было шестеро младших братьев, причем только шестой – от отчима. Мать нигде не работала – зашла еще с юности, к тому же в прошлом году у нее обнаружился рак надпочечников. Отчим тоже нигде не работал, только иногда собирал черный металл и сдавал скупщикам. Дома жрать было нечего, кроме грибов и картошки. Маринка все лето «строила» братьев – безжалостно гоняла ребятишек в лес и на прополку огорода. Так на грибах, картошке и Маринкиных матюгах и выживали. Когда начинался учебный год, «стройка» продолжалась: Маринка требовала от братьев, чтобы они хорошо учились, и действительно, из всей семьи в классе коррекции оказалась только она сама. Маринка по этому поводу не горевала нисколько, наоборот, хотела с учебой поскорее разделаться, потому что сразу после девятого ее уже пригласили на работу – скотницей к фермеру Милюкову.

С родителей Маринке едва удавалось выколлотить денег на батон или буханку в день. Хлеба хватало по куску на каждого, а ребятишки очень его любили, особенно младший Димон. Этому дай горбушку в два пальца, даром, что зубы еще не все проклюнулись, замуслякает весь кус прямо деснами подчистую. Отчим приноровился: он прятал хлеб от детей, а портвейн от жены. И ночью употреблял. Иногда ребятишки оказывались проворней и находили его «нычки»: хлеб съедали, а портвейн отдавали матери. Это единственное обезболивающее, которое ей еще помогало. Отчим пытался налупить провинившихся, но он всегда был полупьян, нетвердо держался на ногах и не мог никого поймать, поэтому только бессильно матерился и обзывал ворами. Маринки он боялся как огня: она поколачивала отчима, от пьянки ставшего похожим на сухую желтую щепку. «Что вы знаете о хлебе?» – с укором прозвучал вопрос писателя, и Маринке, очнувшейся от дремы, тут же стало мучительно стыдно: в воскресенье днем она еще ничего не знала о хлебе, спрятанном под печкой, и не успела найти его раньше, чем

отчим все сожрал. «Надо же быть такой дурой! – ругала себя Маринка. – Все обыскать, а под печку не заглянуть!»

– Что вы знаете о хлебе?

Олег Водоносков, самый красивый парень в одиннадцатом классе, готовился поступать в военную академию и потому учился только на «отлично». В девятом он сдал математику на сто баллов, и теперь математичка Анна по прозвищу «Ванна» (по отчеству Ивановна, по фамилии Ванина) мечтала, что и на ЕГЭ Водоносков покажет тот же победный результат. Олег старался прислушиваться к тому, что говорит писатель, потому что предстояло по итогам встречи написать сочинение, а русский с литрой шли не так гладко, как алгебра с геометрией. Однако утренний холод и постоянное недосыпание действуют одинаково и на отличников, и на двоечников, и на спортсменов, и на хлюпиков. Как и всех, после сегодняшней «трансгрессии» в «пазике» из мира в мир Олега слегка знобило целый день, а теперь клонило в сон. После вопроса «что вы знаете о хлебе?» Олегу вспомнился Руслан Алиев, армейский друг старшего брата. Брательник и Алиев вместе служили в десантных войсках в Пскове. Только брат после срочной вернулся в родную деревню, а Руслан подписал контракт.

Этим летом Руся приезжал в гости. Он оказался классным парнем и научил Олега кидать нож, показал пару прикольных приемчиков рукопашного боя, а то брат вечно отнекивался, мол, некогда с тобой, салагой, заниматься, мол, сам учись... Уже перед отъездом, в середине августа, Руслан пошел на охоту с ночевкой, и Олег с ним напросился. Брат не смог с Русей пойти: уборочная началась, а он комбайнер. Ох и тяжело Олегу пришлось с десантником! Руслан по лесу бегал, как лось – с той же скоростью. За день полсотни километров намотали, не меньше. К вечеру дождь пошел. Руслан объяснил, как сделать шалаш из еловых ветвей с помощью одного только ножа. Потом учил, как в сырости костер разводить. Сварили добытого рябчика с картошкой, а затем пили чай с сахаром и пшеничным хлебом. Рябчик, добытый в смородиннике, жирел все лето на угольно-черных ягодах, и от тушеного мяса шел смородиновый дух по всему лесу. Ужинали, сидя в шалаше, дождь по еловым веткам шлепал, а внутри было уютно и тепло, и хвоей пахло, и дымом, и табаком немного от Руслана, и мужским потом.

Руслан разделил на двоих половину пшеничной буханки и сказал, что подсоленный белый хлеб очень вкусно есть со сладким чаем. Крупная прозрачная соль блестела на белой мякоти, и капли дождя иногда падали на коричневую корку. Олег и Руслан обсуждали, что с утра на запруде за утками надо будет сходить и что осень уже чувствуется. Спать легли, и Олег, согревшийся и уснувший под курткой старшего друга, понял, что жизнь готов отдать за хотя бы еще одну такую ночевку. Он знал теперь, что никогда не станет комбайнером, как брат, и Руслан тоже никогда не стал бы, потому что таким, как они, есть лишь одно место на земле – на охоте или на войне. Только там все ясно и просто, как в таблице умножения, прекрасной в своей девственной чистоте и однозначности...

В конце августа Руслан ушел воевать на Донбасс добровольцем. Олег смотрел новости по телику или читал их в Интернете на «сотике». Он понимал, что всюду врут, но следил за сводками с ревнивым вниманием. Каждый день Олег отрезал себе на ужин кусок белого хлеба и посыпал крупной солью, но даже со сладким чаем хлеб отныне имел горьковатый привкус еловой смолы и едва уловимый аромат черной смородины.

– Что вы знаете о хлебе?

Восьмиклассник Женька Самсонов о хлебе знал больше других, хотя и учился из рук вон плохо. Все понимали, что он еле-еле дотянет до девятого класса, а потом станет тем, кем и положено стать мужчине по фамилии Самсонов – трактористом. Его отец, дед, братья и пле-

мянники – все были трактористами и комбайнерами. А прадеду на юбилей даже собственный трактор от колхоза подарили, с именной табличкой: «Николаю Ивановичу – родоначальнику династии Самсоновых».

Говорят, татаро-монголы сажали ребенка на коня раньше, чем тот учился ходить. Впервые батя взял с собой Женьку в кабину трактора раньше, чем тот научился сидеть. Даже фотография сохранилась – молодой отец, сияющий от счастья, а на руках его завернутый в клетчатое одеяльце Женька с широко раскрытым, орущим ртом.

Как только мальчишка немного подрос, отец стал брать его с собой на работу. По весне Женька наблюдал, как плуг вспарывает брюхо сонной земли, как падают в коричневые раны зерна, а спустя пару недель, если пройдут обильные ливни, семя поднимается дерзким зеленым подшерстком. Летом он любовался валками скошенной травы. У отца они получались безупречно ровными, словно строчки стихотворений на книжной странице. Ближе к осени батя менял трактор на комбайн. Больше всего Женьке нравилась ночная жатва. Цвет зрелого ячменя в свете фар, запах горячего зерна на сушилке. Обеды в полвторого ночи, когда мужики составят технику полукругом на уже лысом участке поля, сядут в ряд, возьмут в руки миски с гречневой кашей и, прогоняя сон, станут хохотать, травить байки под тревожные крики птиц, все лето проживших вблизи ячменных полей.

Женька в запахах, звуках, цвете, в движениях рук на руле и рычагах знал, как рождается хлеб. Но не мог рассказать. Его речь была неразвита, потому что, как говорила училка литры Татьяна Семеновна, за свою жизнь Женька прочитал три книги – «букварь, вторую и синюю». Зато он умел понимать знаки, которые оставляет природа на окрестных полях: когда пора начинать сев или выгонять скотину на пастбища, поздно ли в этом году созреет пшеница и каким будет урожай картофеля... Женька, горюющий из-за неудач в школе, не мог объяснить сделанное им открытие: истинная красота земли проявляется только в безмолвии тяжелого труда. Он мог бы так сказать, но не умел. Он в буквальном смысле *не имел* слов, помимо тех, которые нужны для работы в поле.

– Что вы знаете о хлебе?

В ответ на этот возглас писателя Юркин живот раздраженно забурчал. Девятиклассник Юрка Каменский жил вместе с матерью в деревне Абрамцево. Отца своего не знал, а отчимы менялись каждый год. Сейчас, например, в отчимах ходил бывший зэк, которого Юрка запросто звал Саней, и Саня, пожилой уже мужик, даже и не пробовал протестовать против такого обращения из уст подростка. Саня, всю жизнь просидевший в колониях, то ли не знал, как мальчишки должны обращаться к мужчинам, то ли с высоты своего опыта понимал, что Юрку вереница отчимов окончательно задолбала и пацану плевать на все границы и правила. Саня и мать беспробудно пили, а в перерывах воровали или подрабатывали скотниками на ферме. Жителей в деревне почти не осталось, и когда постоянные работники уходили на выходные, на подмену брали даже алкашей.

Юрка питался в школе бесплатно как малоимущий. Он бы давно учебу бросил, если бы не эти обеды. Но беда в том, что школьного питания было слишком мало для растущего организма. Юрка подворовывал. Когда подавали звонок на первый урок, он прятался в раздевалке и обшаривал карманы пальто и курток в поисках мелочи. А в столовой, когда буфетчица тетя Валя отвлечется, набивал карманы заношенной до дыр толстовки хлебом. Иногда удавалось стащить пирожок или ватрушку.

Юрка был невысоким кареглазым худышкой, хрупким, гибким, как веточка ивы. Его обзывали «девкой» и «бабой» за слабость телосложения и нередко бывали центровые, поэтому мальчишка научился быстро бегать и виртуозно прятаться. Сам он никого и никогда не обижал, если не считать за обиду украденную мелочь. Юрка очень радовался, что у него нет младших

сестер и братьев, как у Маринки из Урочищ, иначе пришлось бы кормить и их тоже. Он мечтал поскорее уехать в город. Что он там будет делать, в этом городе, Юрка не знал, но надеялся, что там-то уж точно он сможет как-то устроиться. Может быть, пойдет работать грузчиком на склад супермаркета. Саня говорил, что грузчики в больших магазинах всегда нужны. Отчим делился разными способами воровства в супермаркетах, и Юрка, готовясь к будущей жизни в городе, мотал на ус. Он слушал Саню так внимательно, как никогда бы не стал слушать учителей в школе.

Мать, глядя на Юрку, часто повторяла: «Жаль, не девкой родился. Замуж бы выдать, и готово!» Сама она выросла в детдоме и не видела ничего особенного в том, что не могла обеспечить сына даже куском хлеба на каждый день. «Его в школе кормят! Отвяжитесь!» – беззаботно отвечала мать, когда на ферме ее начинали стыдить доярки. Но зато, когда она получала зарплату, они устраивали пир на весь мир: ветчина и сыр из райпо, копченая скумбрия, курица гриль. Вино и водка лились рекой... Пьяная, сыто икая, она то пела дворовые песни времен детдомовской юности, то кормила Юрку, приговаривая: «А говорят, я впроголодь тебя держу! Ешь, сыночек, ешь!» Зарплаты хватало дня на два.

Юрка донашивал вещи, которые ему отдавали из жалости. Его иногда кормили – тоже из жалости. И сам он научился жалеть людей. У Юрки обнаружился неудобный для вора талант: он почти физически ощущал боль другого человека. Однажды у матери заболели зубы, медицинский полис она так и не сподобилась получить, а денег на платного стоматолога, который принимал в райбольнице, конечно, не было. Мать лежала на печке, прижавшись флюсом к горячим кирпичам. Дров по такому случаю Саня украл из колхозной столовой, своих-то на зиму, как обычно, запасено не было. Мать скулила, как щенок, недавно отнятый от кормящей суки, а Юрка лежал в комнате на диване и, словно пульс, ощущал биение материнской боли во всем своем теле.

Он не выдержал – сбегал к соседке бабке Мане и попросил у нее анальгину для матери. Лекарства в деревне – это драгоценность. За ними приходилось ездить в город, нанимать машину или топать пять километров до автобусной остановки, но баба Маня все-таки дала пластинку таблеток и сунула парню буханку домашнего хлеба, который она не покупала, а сама пекла в русской печи. У бабы Мани, старой доярки, болели распухшие ноги, ей было трудно дойти до магазина в соседней деревне.

Мать, положив на дырку в коренном сразу две таблетки, затихла и скоро уснула. А Юрка отрывал кусочки от хлебной плоти и медленно разжевывал. Буханка пахла не так, как магазинная, и, вкусив дар от чужого семейного очага, Юрка не выдержал: по его щекам побежали предательски горькие, совсем не мужские, не воровские слезы...

– Поэтому не забывайте, что не только хлебом единым жив человек.

Так закончил писатель свою речь, растянувшуюся на два урока. Учителя наперебой стали благодарить его за встречу, ребятам разрешили разойтись, и «не знавшие ни войны, ни голода», смеясь и толкаясь, гурьбой вывалились из актового зала – кто домой, а кто на остановку школьного «пазика». Знаменитого прозаика повели в столовую – кормить обедом. Юрка Каменский и Жека Самсонов уже развели, что к его приезду повар тетя Катя испекла огромный пирог с яблоками и повидлом, и именно поэтому на всю школу так сладко пахло вареньем во время большой перемены.

Сердце без лапок

«Расскажите про Пуньку!» – просил я родителей в детстве.

Когда для перечисления твоих собственных лет хватает пальцев одной руки, события, случившиеся лет за десять до твоего рождения, кажутся столь же древними, как сказочное «давным-давно, в некотором царстве»...

Итак, давным-давно, но вовсе не в тридевятиом царстве, а в отдаленной вологодской деревне жили-были мои молодые родители. Оба не царского, а чистокровного крестьянского происхождения. Хотя глядя на фотографии мамы в юности, в это трудно поверить. Внешне она напоминала принцессу – Одри Хепберн из «Римских каникул», но с местным колоритом: такая же стройная, как былинка, с глазами олененка, только одета не от кутюр, а из арсеналов райпо. Родители только-только поженились и стали жить в деревушке, которая даже сказочному непривередливому лешему показалась бы слишком... деревушечной.

Но поскольку мама все-таки была почти что принцесса, у нее при дворе, впрочем, не царском, а скотном, появился собственный безмолвный рыцарь. В маму влюбился местный немой дурачок Ленька – единственный сын бабки Густы. Ленька в те эпические времена тоже был молод и, как ни странно, красив. Легкая умственная отсталость не отразилась на его внешности, разве что глаза оставались не по возрасту наивными, а в остальном чем тебе не Иванушка-дурачок из сказки: высокий, ладный, на лицо приятный, и волосы у Леньки вились, пускай и не русые, а каштановые.

Бабка Густя боялась, что после ее смерти Леньку заберут в приют для душевнобольных. «Их там на вулицу не пускают! В еду лекарства ложат! Как в тюрьме держут!» – сокрушалась Августа Георгиевна. Она копила для сына «приданое»: хотела завещать деньги своему племяннику Валере, чтобы тот позаботился о Леньке, когда ее не станет. Некоторые доброты бабку Густю отговаривали: мол, пропадут твои труды прахом! Заберет Валера денежки, а Леньку все равно сдаст в дурдом! Бабка Густя при таких разговорах молчала, поджав губы. Она никого не слушала, откладывала каждую копейку на сберкнижку, даже сахар и чай не покупала, не тратилась на одежду: донашивала обноски, которые ей отдавали соседи. Ленька тоже щеголял в чем Бог пошлёт.

Так вот, папа маму к рыцарю Леньке не ревновал. Во-первых, обижать убогого, безобидного человека – большой грех, а во-вторых, в глубине души отец считал ущербными всех мужчин, умудрившихся жить рядом с моей мамой и не влюбляться в нее. Так что, согласно этой логике, Ленька был нормальный парень, только немой и плохо одетый.

Безмолвный воин делал маме сердца подарки и совершал во имя ее подвиги. Он то приносил и оставлял на крыльце нашей избы букет ромашек, то помогал в самом тяжком труде. Например, однажды при том самом дворе, где мама работала бригадиром, сломался водопровод. Устранить поломку у слесарей не получалось целые сутки. Пятьсот рогатых-хвостатых мучились от жажды, а мама – от жалости к ним. Самой неприхотливой корове нужно не менее ведра воды после каждого кормления, и доярки зарабатывали себе надсадку, таская воду из пруда. Ради мамы Ленька спас и бабонек, и буренок: пусть парень не мог похвастаться силой ума, зато Бог дал ему крепкие руки. Ленька носил воду и день, и ночь, пока весь скот не напился досыта. После этого подвига рыцарь рухнул без сил и почти сутки спал прямо в раздевалке для доярок и скотников. За подвиг водоноса мама выхлопотала для него небольшую премию от колхоза. Эти деньги бабка Густя, конечно же, положила на сберкнижку...

А однажды бессловесный рыцарь подарил маме крошечного щенка дворняги. Назвали собачонку Пунька. Шло время, а песик все не рос и не рос, по-прежнему целиком помещаясь на папиной ладони. Размер у малыша оказался декоративный, а характер – боевой. Пунька

отважно бросался на любого человека, зверя или птицу, если считал, что хозяевам угрожает опасность. Малыш виртуозно владел искусством психической атаки: невиданно малый рост песика и его визгливый лай приводили в ужас неприятелей, никогда не выдавших таких воинов-невеличек. Вдобавок Пунька снискал себе славу живого охотничьего амулета. Любой поход за зверем или птицей становился удачным, если папа брал песика с собой в лес. Пунька умел распутывать следы белок и куниц. Пыхтел, упирался, но вытаскивал из воды убитых уток.

У собачки был только один недостаток – в высокой траве он совершенно терялся. Однажды на сенокосе малыша не заметили в густой отаве, и косой отхватили ему все лапки. Горю моих родителей не было предела. Они выходили Пуньку, но бегать сам крохотулька теперь не мог, только кое-как ползал на лапках-культиках. И тогда мама и папа стали по очереди носить песика в кармане. Отец по-прежнему брал с собой Пуньку на охоту, и малыш, как и раньше, неизменно приносил удачу. Он не утратил способности плавать и был благодарен, когда его отпускали в пруд за поверженной кряквой или чирком. В воде Пунька не чувствовал своего увечья. Он прожил долгий собачий век в любви и заботе и скончался, овеянный славой, поскольку посмотреть на чудо-охотника без лапок приходили люди со всех окрестных деревень. После смерти, как и положено герою, малыш «переселился» в семейные предания вместе с немой Лёнкой.

Когда бабка Густя ушла в мир иной, ее племянник оформил опеку над безмолвным рыцарем и получил наследство. Наперекор злым языкам Валера, словно в отместку сплетникам, изводившим его долгие годы, сдержал клятву перед теткой: не стал двоюродного брата «сдавать в дурдом», а увез его к себе в Вологду. Говорят, что бессловесного воина даже устроили в спортивную секцию для психически больных людей, и он стал чемпионом не то по бегу, не то по прыжкам в длину... Но в разлуке сразу с тремя любимыми – родиной, матерью и дамой сердца – немой рыцарь прожил недолго: он так сильно тосковал в заколдованном замке многоэтажки, что эта тоска, как ржавчина доспехи, сожрала дни его жизни.

Придет время, и я обязательно расскажу эту историю внукам. Пусть они помнят про Леньку, Пуньку и бабку Густю. Пусть, как и я, задаются вопросом: Пунька, мой Пунька, сердце в кармане, немое, без лапок, можно ли сделать дар своим любимым дороже, чем слово, дар прекрасней, чем ты?

Паутинка любви

Время от времени Паутинка тонула в пучине любовных страстей и раздоров.

В деревне из двенадцати изб преобладало женское население пенсионного возраста. На всех пожилых дам сохранилось только трое столь же пожилых кавалеров, и старушки периодически устраивали передел собственности. Как нас учит история, в таких случаях обычно начинается война. Летопись Паутинки подтверждала эту мировую закономерность.

Самая затяжная боевая кампания продолжалась не один десяток лет между тетей Фаей и тетей Тасей по прозвищу Лыжница. Они обе любили однорукого глухого деда, который когда-то был мужем Таисии, но затем ушел жить к Фаине. Деда звали по-вологодски – ОднОрукОй, выделяя все три «О», или же Венюха. Руку Венюхе оторвало еще в молодости – однажды он спяну неудачно завел трактор.

Физические изъяны не мешали дедушке ловко справляться с крестьянской работой. За водой Однорукой, несмотря на недостаток одной конечности, всегда ходил с двумя ведрами. Колодец в деревне был самой обычной северной конструкции – с круглым барабаном, на который наматывалась цепь, а к ней на огромном карабине крепилось общественное, одно на всех, эмалированное ведро. За деревянные ручки паутининцы крутили барабан, цепь с ведром, грохоча и подпрыгивая, летела вниз, в тартарары, ведро захлебывалось в воде, тяжелело, как беременная девка, и чтобы вновь вытащить его на свет божий, нужно было изо всех сил подналечь на ручки барабана. Венюха упирался в них осиротевшим плечом, переноса на него вес тела, а оставшейся рукой придерживал цепь и наконец извлекал из колодезного нутра воду. Наполнив два ведра, он цеплял их на коромысло и важно шагал вдоль улицы к своему дому с осознанием выполненного, несмотря на инвалидность, долга.

Разведка бабулек так и не смогла установить, где, когда и при каких обстоятельствах Венюха «закрутил» с тетей Фаей, но только однажды на исходе весны он сложил в рюкзак выходной костюм и перемену белья, сунул под мышку здоровой руки валенки, повесил на осиротевшее плечо коромысло и покинул избу тети Таси.

Впрочем, прежнюю суженую он так и не забыл и регулярно, тайком от тети Фаи, навещал бывшую жену, чтобы исполнить мужские обязанности по хозяйству: колот дрова, носил воду для полива огорода, чинил крышу и забор. Ведь тетя Тася тоже была инвалидом. Она родилась с больными ногами. Все у нее было кругленькое: и лицо, и щечки, и ямочки на щечках, и голубые глазки, и ушки, и сережки в ушках, и янтарные бусики на шее и даже носки лаптей. Лапотки она носила вынужденно: ее больные распухшие ступни не влезали ни в какую другую обувь. Тетя Тася мечтала о тапочках и валенках, как у всех остальных жительниц Паутинки, но – увы! – была обречена на пожизненное ношение лаптей. При ходьбе старушка опиралась на две палки или, на паутинском языке, на два батога. Шла, как на лыжах: левый батог переставит, ногу в кругленьком лапотке, не отрывая от земли, передвинет, потом тем же манером – правый батог и следующая нога. Отсюда и ее прозвище – Лыжница, на которое сама старушка никогда не обижалась. Впрочем, Таисию называли так только за глаза. Батоги у старушки тоже были идеально круглыми в диаметре. Они блестели на солнце, отполированные до безупречной гладкости мягкими подушечками ладоней.

От тети Таси даже зимой пахло клубникой. Как и все бабушки, она почти круглый год скучала по детям и внукам. Они редко навещали ее, поскольку жили в Вологде, к тому же постоянно ссорились между собой: никак не могли поделить тети-Тасин дом, который должен был достаться им в наследство. В итоге то семья сына, то семья дочери отказывалась навещать родные пенаты из принципа, демонстрируя конкурентам в борьбе за дом свою гордость.

Тетя Тася, лишившись мира в семье, не знала, куда же теперь деть всю свою нерастратченную любовь и тоску по близким. Не имея иных способов выразить эти чувства, она варила

варенье в промышленных масштабах. К ягодам и сахару тетя Тася алхимическим образом примешивала некий пятый элемент, который превращал обычное лакомство в произведение искусства, и зимой щедро раздавала соседям-паутиنینцам свою любовь, сваренную заживо и запертую под пластмассовой крышкой. Тасино варенье славилось на всю округу.

В свободное время тетя Тася шила кукол из голубых лоскутов: у нее сохранилось множество остатков от плотной ткани небесного цвета. Голубые куклы получались у нее как на подбор пухленькие, кругленькие и без лиц – ни глаз, ни губ, ни носа, парни в портках и рубашках и девки в сарафанах.

В полном одиночестве тетя Тася разыгрывала представления наподобие кукольного театра: она все еще помнила то время, когда Паутинка была большой оживленной деревней, и в ней жили не только одни старики, но и молодые семьи, и собиралась в клубе молодежь, и играли на улице ребятишки... Теперь, повинаясь воле тети Таси, куклы имитировали жизнь давно умерших, состарившихся или переехавших в город паутиنینцев: матерчатые жители деревни встречались, влюблялись, сеяли хлеб, доили коров, растили детей. Вот пошла кукла Груня к реке, стала тонуть, спас ее Федор, вот они поженились, вот остальные куклы на свадьбу пришли, песни пели, стали молодые жить вместе, да Федор не утерпел соблазну и ушел жить к супостатке Авдотье...

Супостатка тети Таси тетя Фая на куклу совсем не походила. Она была слишком подвижной, даже в свои преклонные годы, слишком кареглазой, слишком худенькой. Она не могла похвастаться женственными формами, да и черты лица не отличались мягкостью – резко очерченные, хотя и очень красивые, однако вовсе не милые. Тетя Фая держала улы, и потому от нее пахло медом. В костюме пасечника она напоминала отважного космонавта. Тетя Фая прекрасно стреляла из ружья-пневматики: так она отгоняла назойливых дроздов с огорода. Эти пернатые хулиганы всего за пять минут могли уничтожить огромные урожаи смородины или малины. Убив пару птичек, тетя Фая вывешивала трупки на огородное пугало для острастки другим крылатым воришкам.

В общем, трудно было представить женщину более непохожую на тихую, домашнюю тетю Тасю, и брошенная старушка уверяла всех, что Фаина – колдунья и Венюху она приворожила. За такие слова саму тетю Тасю начинали ругать, потому как ворожба – смертный грех. «А прелюбодейство не грех?!» – всякий раз горячилась покинутая жена. «Грех, Тася», – соглашались с ней паутининские бабульки, но тут же вспоминали про преклонный возраст всех участников этого любовного треугольника, советовали остепениться и по памяти цитировали ей слова Спасителя: «Ибо когда умрут да воскреснут, не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах». Тут тетя Тася делала одновременно и покорный, и обиженный вид, ее дружно начинали жалеть, а заодно вспоминать любовные истории далекой молодости про измену и коварство мужчин.

В юности у тети Фаи подобных историй не случалось. Она счастливо вышла замуж, но рано овдовела. Ее мужа увела самая непобедимая деревенская разлучница – водка.

Зимой на посиделках, сидя за кружевками, побрякивая коклюшками, тетя Фая делилась с подругами воспоминаниями о муже. «Работал Валюха тяжело и пил не легче. Мать у меня состарилась и мерзла в избе даже летом, ночью просилась спать на печь, а залезть сама не могла. Возьмет Валюха ее на руки и посадит, а мать там быстро согреется, жарко ей становится и снова просит снять. И всю-то ночь так! А мне в 3 утра на ферму идти, коров доить. Согрешу – заругаюсь! Затихнут. Потом слышу, Валюха маме шепчет: «Мать, ты на ухо-то мне прошепчи, чтоб Фаину не будить, а я уж подсажу на печку-то...» Вот счастье-то было! И чего мне не хватало?»

После смерти мужа Фаина долгие годы, пока не перешел в ее избу Однорукой, жила вдвоем с Герой, единственным сыном. Он родился инвалидом, покореженным ДЦП. Гера хоть

и не учился в школе, но отличался завидным умом. Он самоучкой выучился читать и мастерски играл в шахматы.

Летом тетя Фая и тетя Тася устраивали ежедневные перебранки ровно в полдень. У них имелось и постоянное поле битвы. Паутинка – это одна недлинная улица, по обе стороны которой стоят избы. Ровно посередине девичью талию деревни перепоясывал овраг, поделив ее на два «конца», как говорили паутининцы. По дну оврага тек ручей, берега соединялись деревянным мостиком. Тетя Тася жила в одном конце, тетя Фая – в другом. Они сходились у оврага и начинали бранить друг друга. «Разлучница!», «Супостатка!», «Змея подколотная!» «Вражина!» – разносились их крики по всей деревне. Поругавшись минут пять, обе с достоинством удалялись, каждая в свой конец. Зимой эту традицию они не поддерживали, так как кричать на вологодском морозе пусть даже и на заклятую «вражину» нет никакого удовольствия для измученного ревностью сердца.

Лишь один раз словесное побоище завершилось реальным столкновением. В один особенно жаркий день после сенокоса тетя Фая захотела напиться чаю, но воды в доме не оказалось, а Венюха отлучился к соседу-столяру подправить сломавшиеся грабли. Как раз в это время вся Паутинка собралась на посиделки на скамеечках у колодца. Существовало негласное правило: во избежание критических ситуаций Фаина и Таисия ходили в этот деревенский «салон» по очереди. В один вечер являлась тетя Фая, в следующий – тетя Тася.

Фаине пришлось выбирать: сидеть дома без чая и ждать, пока посиделки завершатся, или рискнуть и пойти к колодцу за водой. Природная непоседливость подсказала, что риск – дело благородное, и, вооружившись коромыслом, тетя Фая отправилась добывать водицу. Увидев супостатку, нарушившую закон, тетя Тася решила воззвать к общественному мнению. Зазвучали обычные «Змея подколотная», «Разлучница», «Бесстыжая». Все остальные дамы и господа, имевшие неосторожность посетить салон в роковой день, хранили потрясенное молчание.

Тетя Фая, как могла, соблюдала нейтралитет. Поджав тонкие губы и безропотно выслушивая брань, она вычерпнула из колодца первое ведро воды... Никогда еще колодезная цепь не разматывалась так медленно и с таким ужасным скрипом, как в этот вечер... Тетя Тася продолжала ругаться, тетя Фая молчала. Кто-то из паутининцев попробовал усмирить Лыжницу: «Да что ты, Тася, успокойся! Будет тебе! За водой она пришла!» Но Таисию это замечание еще больше взбесило: «Давайте! Заступайтесь за проститутку!» В это время тетя Фая успела вытащить второе ведро воды. Пока паутининцы пытались образумить Таисию, все они как-то отвлеклись от тети Фаи, и лишь тетка Маня заметила, что Фаина вытащила и еще одно ведро воды.

– Фая, ты ж с двумя пришла, на что тебе третье? – удивленно спросила баба Маня.

– А вот на что! – воскликнула тетя Фая, опрокидывая воду на голову раскричавшейся Тасе. – Охолони немножко!

Старики и старушки, стоявшие и сидевшие на скамеечке рядом с тетей Тасей, бойко, как подростки, отскочили в разные стороны, спасаясь от ледяных брызг. Сама Таисия издала слабый звук, нечто среднее между «Ах!» и «Ох!». Вода стекала по ее платочку, ручейки чертили округлые русла по кругленькому лицу на кругленькие груди и кругленький живот. «Вот стерва!» – опомнилась тетя Тася. Бабульки тут же начали выражать Таисии сочувствие и под обе руки увели ее в избу переодеваться. Посиделки плавно переместились в дом пострадавшей, и тете Фае в этот вечер досталось от соседей по первое число: вода из колодца, конечно же, была ледяной, и тетя Тася запросто могла заработать воспаление легких, но, к счастью, этого не случилось. Уже на следующий день Лыжница вышла к оврагу на словесную дуэль...

И все-таки однажды летом тетя Тася не явилась на полуденную битву, и тетя Фая тщетно патрулировала поле брани в течение получаса, а затем не по возрасту легко побежала к дому супостатки... Увидев бегунью из окон изб и из огородов, остальные паутининцы тоже стали

подтягиваться к Тасиной избе. Первой в дверь вошла тетя Фая. «Вражину» она нашла лежащей у дивана. Ночью с тетей Тасей случился удар.

– Тасенька, милая, Тасенька, потерпи, сейчас «Скорую» вызовем, – уговаривала Фаина. В это время самый быстрый ходок – Однорукой – уже бежал на животноводческую ферму в соседней деревне: там находился единственный на всю округу телефон. Сотовой связи в Паутинке в те времена еще не было. Она появилась всего через несколько лет, но к тому времени в деревне не осталось никого, кто мог бы звонить.

...Тетю Тасю увезли в больницу. Она оправилась, но остаток лета, а также всю осень и зиму провела не в деревне, а в городе у детей, неожиданно помирившихся под угрозой тяжелой утраты. Родные выходили Лыжницу, и под конец следующей весны она вернулась в Паутинку, как ни уговаривал ее сын остаться с ним в городе. Встречали тетю Тасю всей деревней. Она похудела, но осталась кругленькой, все еще с трудом говорила, но глазки уже весело блестели, как глянцевые пуговицы, и по-прежнему, подобно ожерелью из солнышек, сверкали янтари на шее.

На следующий день после Тасиногo приезда, ближе к полудню все паутининцы толпой вывалили к оврагу. Фаина не заставила себя долго ждать. А вот Тасю ждали – в полной тишине, под марш весенних птиц она величественно, очень медленно «выехала» из своего заулка на лапотках с батогами. Соперницы, как водится, заняли боевые позиции по краям мостика через ручей.

– Р-ры-аж-жина... Меее-я под-ло-дная! – начала Тася заплетающимся после инсульта языком.

– Слава богу! – перекрестилась Фаина. – Быстрее говорить научишься! Супостатка!

Бабушки прижимали кончики платочков к глазам, деды, включая Однорукого, озадаченно отводили глаза, кто-то неуверенно хлопнул в ладоши, и вдруг паутининцы зааплодировали. Громкими хлопками, как поганую муху, прилетевшую с тленной падали, они отгоняли тот неумолимый день, в который ни тетя Фая, ни тетя Тася, ни они сами уже больше не выйдут к оврагу. И в окно Тасиной избы наблюдали за происходящим выставленные для красоты на подоконник матерчатые девушки и парни, все одинаково бесполого небесного цвета.

Бабочка в лабиринте

В темнице моей памяти томится крылатая белая пленница. Она угодила в заключение девятнадцатого июля, в день, когда мне исполнилось девятнадцать лет. Вместе со мной праздновал шестнадцатилетие мой друг Саня по прозвищу Зёма. Одна цифра совершила кувырок и встала с ног на голову, но, пожалуй, тогда это было единственное различие между нами. В тот год мы заполняли нищую деревенскую юность всеми сокровищами северного лета. Днем до отупения работали на сенокосе. Ночами измеряли шагами проселочную дорогу, причем вовсе не в прогулочном темпе, а в энергичном подобию солдатского кросса, чтобы комары и гнус не успели нас догнать. Иногда мы жгли костры на обочинах, спасаясь от крылатых тварей, и на наших глазах безобидные невесомые мотыльки гибли в пламени наравне с кровососущими гадами. Когда нашим рукам выпадало счастье освободиться от вил и граблей, мы тут же вкладывали в них сети и удочки. Все выходные проходили на реке, где мы купались, рыбачили, варили уху и заваривали чай из листьев княжицы. В то лето каждое утро в окно моей комнаты ударял мелкий камешек, и неизменно бодрый Зёмин голос возвещал:

– Вставай! Смотри, что я принес!

Обычно это был букетик щавеля, тощая молодая морковка или горсть ягод, украденных на чьем-нибудь огороде.

В наш общий день рождения мне удалось приготовить для Сани подарок: накопить-наскрести по монетке на плитку шоколада. У Зёмы, старшего сына в многодетной семье, этот хитрый трюк не удался. В качестве презента Саня придумал другой фокус. Как обычно, девятнадцатого июля в мое окно шелкнул камешек.

– Эй ты, а ну пошли выйдем! – крикнул Зёма, изображая угрюмую интонацию бандита из детективного фильма.

Мы встретились на залитой солнцем лужайке в окружении грядок с луком. Над нами порхали разнообразные насекомые: мухи, слепни, бабочки, мошки, шмели, пчелы. Казалось, весь воздух заполнился трепетанием их крыл. От грядок остро несло луком. К этому запаху примешивался тончайший аромат желтых и оранжевых лилий. Они всегда расцветали точно к нашему общему дню рождения, но мы сами в отличие от лилий давно уже не были невинными цветами. Год назад Саня вместе со своим дядей-дальнобойщиком совершил путешествие от Калининграда до Уральских гор и получил весьма точное представление о прейскурante «плечевых» на всем протяжении этого маршрута. Мне, как и всем деревенским ребятишкам, тайна зарождения новых существ – от телят и котят до детенышей человека – открылась еще в начальной школе при естественном наблюдении окружающей природы, которая игнорирует законы о возрастных цензах. Неудивительно, что в возрасте, когда сердца становятся особенно уязвимыми, мы прятали их под грубым хитиновым панцирем скабрёзных шуток. В компании таких же измученных работой недорослей парни и девчонки ночи напролет травили анекдоты, достойные самых искусных боцманов, но при этом ни у одного из нас не хватало смелости хотя бы самым кончиком языка попробовать на вкус чистое слово «любовь».

– Давай, протяни обе руки! Сделай их «чашкой»! – попросил Зёма. – Я отпущу, а ты сразу не раскрывай!

Он что-то прятал в замке из своих ладоней. Это что-то переместилось из его пригоршни в мою «чашку», и его ладони легли сверху, словно горячее блюдо. Нечто хрупкое и невесомое трепетало, и пульсировало, и пыталось вырваться на волю из сосуда, стенки которого состояли из наших рук.

– На счет три выпускаем: раз, два, три! С днем рождения!

Мы разжали горсть из четырех ладоней, и в небо выпорхнула белая бабочка-капустница. Она летела по неровной траектории, словно еще не пришла в себя после плена. Разок переку-

вырнулась в воздухе, описав нечто вроде шестерки, а может, девятки, и исчезла в сплетении солнечных лучей и воздушных струй.

Почему-то спустя годы я вижу себя и Зёму как бы сверху, как бы с высоты полёта – вот два нескладных существа, застывших посреди лужайки в растерянности.

С этой крылатой точки отсчета прошли годы. Я теперь зарабатываю себе на жизнь не сенокосом, а складывая слова в предложения. Саня тоже складывает, но не звуки и буквы, а бревна на лесовозы в отдаленном районе Вологодской области. Мы не виделись лет десять, а может, пятнадцать. Но я знаю, что Саня-Зёма так же, как я, скучает по когда-то ненавистным сенокосам, а летом любит наблюдать за полетом капустниц. Будто юннаты, поставившие эксперимент на самих себе, мы сделали открытие, верное для нас обоих: жизнь нашей капустницы только на первый взгляд была скоротечна, но если вдуматься, то на самом деле эти бабочки вечны. Крылатые и невинные порхают из прошлого в будущее столь же беспечно, как с цветка на цветок. Они перелетают из лета в лето, из жизни в смерть и обратно с той самой божественной легкостью, с которой Спаситель отправлялся в путешествие, не имея при себе ничего, кроме дорожного платья и посоха. И наша капустница со свойственной для всех крылатых беспечностью, наверное, до сих пор блуждает где-то в лабиринте Его неисповедимых путей.

Как Байкала хоронили

Игнаха неловко вертел в руках сотовый телефон. Они были созданы друг для друга: крестьянские ладони, большие, как лопаты, грубые, с навсегда почерневшими от работы ногтями и телефон самой простой модели, в потертom корпусе, с трещинкой на экране, с табачными крошками под клавишами цифр.

Родную деревню со всех сторон забаррикадировало снегом. Она стыла в блокаде зимы, окольцованная еловым лесом. Игнаха сидел за столом на кухне отчего дома и смотрел в окно. По улице никто не шел, да и некому было идти. Жилых в Паутинке осталось всего четыре дома. Воды с колодца все соседи еще с утра наносили, а теперь в сумерки, да еще и в такой холод кому надо шататься по улице? Разве что кошка пробежит, да и то вряд ли. В такой час все коты уже забрались на русские печки, спрятали носы под пушистыми хвостами и мурлычут к очередному морозу.

Игнаха не решался позвонить младшей сестре, живущей в городе, чтобы сообщить ей скорбную весть: сегодня вечером от старости умер Байкал – лайка русско-европейской породы. Байкал уже давно был отправлен на пенсию по инвалидности – три года назад кабан порвал псу связки на передней лапе. Игнаха отвез раненую собаку в город к ветеринару, но врач сразу заявил, что Байкал «стар, отвоевал свое» и на всю жизнь останется хромым.

В отличие от молодых лаек, с которыми Игнаха охотился теперь, «пенсионер» не сидел на привязи и пользовался разнообразными льготами. Стоило ему хоть немного заскулить, домоладцы Игнахи – мать, отец, жена и дети – неслись к «старичку» с подношениями. Кто нес косточку, кто – кусок пирога, причем именно пироги с картошкой и мягкие батонны Байкал, потерявший под старость все зубы, особенно любил. Ради них он устраивал театральные спектакли. Как щенок, прижимал уши к поседевшей черной башке, напоказ выставлял раненую лапу и, заглядывая в лица хозяев пронизательными карими глазами, отрывисто скулил, не в одну ноту протяжно, а короткими фразами, будто жалуясь на стариковскую жизнь.

– Не балуйте его – нечего! – сурово говорил родным Игнаха. – Кормил я его сегодня!

Но мать лишь отмахивалась:

– У тебя вечно все сытые! Буду я тебя слушать!

Отец, старый коммунист, чеканил, как лозунг:

– Он ветеран труда – заслужил!

А жена и дети прятали лакомства в карманах и отдавали Байкалу тайком, пока Игнаха не видит.

Сегодня вечером мать пошла кормить собак, дала молодым лайкам Ямалу и Тоболу овсяной каши, сваренной с обрезками рыбы, и зашла к «старикам». У Байкала была своя собственная будка, но он предпочитал спать в сенном сарае между рулонами соломы. Вот там его мать и обнаружила. Байкал лежал, открыв глаза, обнажив последние редкие зубы. Он не шевелился, застыв в неестественной позе, вытянув все лапы и даже больную, чего никогда не делал, он всегда прятал ее под себя, берег. Мать подойти к покойнику так и не решилась, вернулась домой в слезах...

Это была серьезная потеря. Жизнь каждой охотничьей собаки от щенячьего возраста и до смерти становилась целой эпохой в истории семьи. Была, к примеру, эпоха свирепого медвежатника Тунгуса, нежно любившего детей. Была эпоха Айны, рыжей бестии, которая проявляла такую невиданную хитрость и в лесу, и дома, что получила вторую кличку Лиса. Сегодня закончилась эпоха великого труженика Байкала.

Даже уйдя на пенсию по инвалидности, пес продолжал работать: отгонял от курятника ежей, хорьков и лис, провожал детей на остановку школьного автобуса, добровольно взяв на

себя обязанности няньки и охранника по совместительству. А охранять было от кого: к деревне подходили стаи одичавших собак, бросавшихся на людей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.